

Б. Докторов, В. Ядов

Разговоры через океан: о поколениях отечественных социологов на протяжении полувека

Настоящий материал продолжает нашу онлайн-беседу, опубликованную в первом номере журнала “Социальная реальность” за 2008 год [Работа над биографиями... 2008]. В этом году исполняется 50 лет Советской социологической ассоциации и 40 – институционализации социологии в рамках Академии наук, так что предмет нашей беседы и ко времени, и к месту.

Мы благодарим наших коллег Наталию Мазлумянову за предложения по уточнению ряда положений этой статьи и Ларису Козлову за ценные комментарии по поводу обсуждавшихся вопросов.

Действия “фундаторов” невозможно уложить в общую схему...

Владимир Ядов: В нашей предыдущей беседе ты описал свою методологию изучения истории рекламы и опросов общественного мнения в США. Суть твоего подхода, как я понял, в том, чтобы рассмотреть историю зарождения и развития некоторого научного направления, притом с учетом социального контекста, а также понять, каков вклад личности исследователя в этот процесс – его социального “Я”, особенностей ранней и последующих этапов социализации, круга интеллектуального общения и т. п. Мы договорились продолжить разговор, но теперь уже – о становлении (говорят также – возрождении) отечественной социологии в 1960-е годы и ее развитии в постсоветское время. Эта тема весьма чувствительна, она затрагивает интересы и самолюбие многих из ныне здравствующих коллег, непосредственно причастных к предмету обсуждения. Но у нас есть прямые свидетельства того, как все происходило: сборник интервью с ветеранами советской/российской социологии

под редакцией Геннадия Батыгина, беседы с социологами-шестидесятниками Ульфа Химмельстранда [Himmelstrand. 2000], только что вышедшие воспоминания Татьяны Заславской и подготовленные к изданию мемуары Игоря Кона. Я отнюдь не предлагаю путем электронного общения сочинить том по истории нашей социологии, но, используя твой подход, попытаемся уяснить, как именно свидетели этой истории представляют ее важнейшие особенности. Согласен?

Борис Докторов: Давай только постараемся сделать эту беседу более диалогичной. Хотелось бы, отвечая на твои вопросы, спрашивать и тебя.

В. Я.: Хорошо. И я предлагаю тебе опираться главным образом на обширный банк интервью с российскими социологами, тот, что ты накопил, плюс тот, что вы создали с Димой Шалиным, – “нетленный” сайт из сотни с лишним подобных текстов, который постоянно пополняется.

Б. Д.: Начиная с 2005 года мною проведено и опубликовано в питерском журнале “Телескоп” и в московских изданиях – “Социологический журнал” и “Социальная реальность” – три десятка биографических интервью. Наш с Шалиным

онлайн-проект “Международная биографическая инициатива” (<http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html>) существует более двух лет и содержит, мы полагаем, наиболее представительную коллекцию интервью с российскими социологами и статей по истории советской / русской социологии.

В. Я.: Обладая таким богатством, как бы ты структурировал нашу беседу?

Б. Д.: Во-первых, мне представляется важным предложить такую версию истории постхрущевской российской социологии, в которой главную роль играли бы суждения, свидетельства самих социологов. Примечательно, что становление обществоведческой научной дисциплины в СССР, жестко контролировавшем все сферы жизни общества, в значительной степени совершалось снизу, то есть благодаря профессиональной и гражданской активности первых поколений социологов. Атмосфера политической “оттепели” рубежа 1950–1960-х годов, временное ослабление давления государства на личность, приподнятие “железного занавеса”... Набрало силу поколение, оберегаемое родителями от знаний о перипетиях борьбы “с врагами народа” и об истории собственных семей, но законно ощущавшее свою причастность к победе в войне. Все это позволило небольшой группе молодых обществоведов начать заниматься социологией. Они ни у кого не испрашивали разрешения и все делали иногда при поддержке прогрессивно мыслящей части партийной и административной элиты, но часто – вопреки генеральному направлению густо идеологизированного обществоведения. Пока я классифицирую то, чем располагаю, как историю с “человеческим лицом”. На мой взгляд, история должна отражать не только сделанное советскими социологами, но по возможности подробно рассказывать о них самих. Трактовка истории нашей науки, подчеркивающая роль ученого как профессионала, гражданина и человека, эффективно дополнит институциональное прочтение прошлого.

Институциональность при таком подходе не выхолащивается, ибо жизненные пути этих социологов были жестко заданы государством. Государство было повсеместно: от школы и вуза

до трудоустройства, выбора темы исследования, возможности опубликования результатов, контактов с зарубежными коллегами.

На мой взгляд, поиски “человеческого лица” в различных современных политических и социальных процессах и тенденциях – это одно из веяний, велений времени. XX век устал от государства, от железа, скрежета, войн, насилия. Но прежде чем продолжить ответ на твой вопрос, могу ли я узнать твое мнение относительно сказанного?

В. Я.: Невозможно уложить действия “фундаторов” в общую схему...

Б. Д.: Именно это я и говорю, в нашей беседе общая схема может находиться несколько в тени, на авансцене нам нужны лица, и как можно больше...

В. Я.: Позволь продолжить о трудностях “общей схемы”. Так, Геннадий Осипов, сыгравший ключевую роль в институционализации социологии, помимо интереса к науке обладал качествами, которыми другие похвастаться никак не могли. Он великолепно ориентировался в столичных коридорах власти и эти способности эффективно использовал во благо нашего общего дела. Не знаю, насколько затянулось бы признание социологии в системе марксистских наук в Академии, если бы не подвижничество Осипова. Звание академика в тех обстоятельствах ему никак не светило. Альтернативный персонаж – Юрий Левада – академический ученый, озабоченный лишь тем, чтобы ему не мешали заниматься своим делом. Юрий, я думаю, был в нашей когорте наиболее образованным. Недавно я заново прочел его курс лекций, послуживший причиной остракизма, и, клянусь, это великолепное введение в социологию, которое можно рекомендовать и нынешним студентам. Борис Грушин – хулиган по характеру, но интеллектual по образу мыслей. Его участие в кружке “диалектических станковистов” Мамардашвили вполне могло завершиться арестом. Также в его характере ниспровергателя было утверждение, что никакого общественного мнения в СССР нет, ибо нет гражданского общества и общественно-политической дискуссии. Тем не менее, Борис стал нашим Гэллапом, надеясь, что сам факт опросов граж-

дан подвигнет их к размышлениям о проблемах общества. Мы, питерские, вдали от Москвы делали свое дело, не очень задумываясь о позиции высших властей. У нас было провинциальное представление о властных структурах (главное – охмурить свой обком партии), но было серьезнейшее отношение к новой тогда науке. В Свердловске Леонид Коган, человек с искрометным юмором, определенно считал, что социология поможет партии лучше понять, что следует делать, если социологи представят истинную картину общества. Украинская когорта тогда была озабочена в первую очередь самообразованием, каковое пополнила в постсоветское время сотрудничеством с американцами, и сегодня выступает в роли истинных интеллигентов, отстраненных от власти. Эстонские первосоциологи Юло Вооглайд, Марью Лауристин, Пээтер Виихалем, Яаак Тамм и другие учились у нас, с тем чтобы в критический момент выступить экспертами при разработке и осуществлении программы “назад в Европу”¹. Захар Файнбург, глубокий философ и социолог, “далеко от Москвы” (был такой роман Василия Ажаева) создал великолепную школу, участники которой не только отличные эмпирики, но и пытаются категориально осмыслить статистику. Блистателен белорусский партизан Георгий Петрович Давидюк, который именно как партизан, навесив свои ордена и распахивая ногой двери в кабинеты ЦК Белоруссии, “продавил” социологию². Венори Квачахия – отец грузинской социологии, веря-



щий в общественный пульсар исследований общественного мнения, сотрудничал с Шота Надирашвили, директором института психологии им. Д. Уznaдзе, был вхож в кабинет Первого секретаря КП Грузии Шеварднадзе, который обращался к нему “батано профессор товарищ Венори”. Квачахия с помощью Шеварднадзе раньше Грушина создал представительную опросную сеть по республике.

Я согласен с твоим мнением, что шестидесятники почувствовали свободу научного творчества и социального действия, но каждый по-своему. Маркс, которому следуют нынешние мэтры активистской социологии, писал о параллелограмме сил в том смысле, что в обществе сталкиваются разные интересы действующих субъектов и в итоге складывается вектор социального развития, изменения. Какими бы персональными

мотивами ни руководствовались шестидесятники, получилось то, что получилось.

Б. Д.: Уверен, мы эту тему еще обсудим, но сначала мне хотелось бы обозначить более общие вопросы.

Еще четверть века назад исследования по истории современной российской социологии не казались актуальными, да и время было для того совсем неподходящим. Правда, если бы тогда наше профессиональное сообщество задумалось о необходимости фиксации и изучения пройденного им пути, то сегодня проведение историко-научно-ведческих исследований было бы много проще; за последние два десятилетия мы

¹ Все упомянутые активнейшим образом участвовали в политической жизни Эстонии в качестве депутатов парламента: Лауристин была министром и сегодня является лидером Социал-демократической партии, Тамм – мэром Таллина и позже – мэром Силламяэ, где большинство избирателей – русскоязычные. Он умер в 50 лет, и врач сказал, что сердце его – сердце старика.

² Г.П. Давидюк издал первый в стране учебник по прикладной социологии: Давидюк Г.П. Введение в прикладную социологию. Минск, 1975.

потеряли многих из тех, кто стоял у истоков развития социологии в Москве, Петербурге и других регионах страны, прекратил свое существование ряд давно действовавших исследовательских коллективов, исчезли архивы и т. д.

В. Я.: У нас есть в Питере ученейший архивариус – Андрей Алексеев...

Четыре вопроса-ориентира

Б. Д.: Но специфику сегодняшних исторических поисков нельзя сводить только к активизации сбора и организации хранения материалов для будущих исследований. Современный этап скорее всего следует назвать *“вопрошающим”*: необходимо сформулировать вопросы, которые могли бы стать координатами историко-научных исследований. В порядке первого приближения рискну назвать следующие четыре.

Первый вопрос – собственно историко-научный: каков генезис постхрущевской социологии, особенности ее возникновения? *Второй* – каковы критерии выделения разных поколений в нашей социологии и как они взаимосвязаны?

Вопрос третий касается взаимоотношения социологии и общества: в какой степени результаты теоретических и прикладных исследований 1960–1980-х годов отражают то, что происходило в стране и в сознании людей? И *последний вопрос* – теоретико-методологический: внутри страны и для мирового научного сообщества советская социология позиционировала себя в качестве

инструмента, главной силы развития марксистской теории общества. Каковы эти теоретико-методологические достижения?

Мы не сможем обсудить сразу все намеченные темы, но важно начать...

В. Я.: Думаю, что рамка хорошая, но замечу, что далеко не все претендовали на роль “главной силы” развития марксистской теории общества применительно к нашей стране. Ты знаешь, что

почти сразу среди социологов начало происходить некоторое разделение по предмету интереса и исследований. Так, методологи образовали свое сообщество ранее других, социологи-трудовики получили сильную подпитку со стороны власти, когда была объявлена потребность в социальном, не только экономическом планировании. И так далее. Что же касается развития теории, то мне трудно было бы назвать кого-либо, кроме Василия Ельмеева [Интервью с профессором Ельмеевым. 1998], кто делал это именно в логике марксизма. Скорее были серьезные продвижения в теоретическом плане за счет совмещения марксистских идей с немарксистскими, особенно с парсонсианскими. Ельмеев же прямо заявлял, что необходима марксистская эмпирическая социология, главное отличие которой от буржуазной он видел в отрицании субъективистских опросных методов в пользу анализа социальной статистики, изучения по документам передовых производств и т. п. Известно, что на этой основе научной школы не состоялось. Движемся дальше?

Б. Д.: Хорошо, но сначала сделаю некоторые терминологические уточнения, касающиеся обозначения того, историю чего мы обсуждаем. Прежде всего речь идет, конечно же, о советской/российской социологии постхрущевского (точнее – после доклада Хрущева на XX съезде КПСС) периода, в которой, мне представляется, следует выделить два пласта.

Первый пласт охватывает период до начала 1990-х годов, то есть советское время, вто-

рой – вмещает события, развивающиеся после распада Союза; это тоже уже солидный временной отрезок.

При обсуждении реалий первого пласта вполне оправдан термин “постхрущевская социология”, так как, во-первых, он точно характеризует социальную атмосферу, в которой нынешняя отечественная социология возникла и развивалась, и, во-вторых, он составлял исто-

Современный этап истории социологии скорее всего следует назвать “вопрошающим”: необходимо сформулировать вопросы, которые могли бы стать координатами историко-научных исследований

рически неповторимую среду, в которой и действовали первопроходцы. Однако замечу, что и при обсуждении прошлого с некоторыми нашими коллегами, и в ряде встречавшихся мне публикаций я обратил внимание на стремление авторов избежать определения “советский”. Я с этим не могу согласиться.

Летом 2007 года я встречался с Татьяной Ивановной Заславской и спросил ее: “Как вернее называть недавний период развития нашей социологии: советской социологией или советским периодом (этапом) российской социологии?” Она ответила: “Мне кажется, что правильнее – советской социологией. Ведь этапы – это части целостного процесса: зарождение, созревание, зрелость... причем всё это должно быть непрерывным. А в российской социологии был огромный разрыв между 1920-ми годами и началом 1960-х <...> А стимулами для возникновения или попыток оживления социологии в 1960-е годы стала действительность того времени <...> Рождение нашей социологии стимулировалось этими факторами” [Заславская. 2007. С. 166].

Примерно в то же время аналогичный вопрос я задал и Жану Терентьевичу Тощенко, он ответил следующим образом: “Сам я лично употребляю словосочетание “советская социология”, так же как по отношению к социологии XIX – начала XX века – “русская социология”. Нынешний этап для меня – “российская социология”... общим названием... является термин “отечественная социология” для внутренней аудитории и “российская” – и для внутреннего, и для внешнего потребления” [Тощенко. 2007].

В дальнейшем, говоря о доперестроечных временах, я буду использовать термин “советская социология”, о событиях второго временного периода (пласта) – “современная”, или “постсоветская”, “русская”.

В. Я.: Мы с Игорем Коном по просьбе редактора Эдгара Боргатта написали большую статью

о нашей социологии для второго издания Международной социологической энциклопедии (International Encyclopaedia Of Sociology. Ed. by Borgatta Edgar F., Vol 4. 2000) и долго думали, как же ее озаглавить. Статья опубликована под титулом “Социология в СССР и в постсоветских стра-

нах”. Создаваемое в период “оттепели” никоим образом не опиралось на дореволюционных гигантов отечественной социологии. На международных конгрессах мы выступали как советские (“русские” в терминологии западных участников) и, прямо скажу, этим гордились – многие доклады собирали изрядную аудиторию. Это, Боря, проблема самоидентификации. В науковедческом тексте, я согласен, шестидесятников следует именовать советскими социологами хотя бы

потому, что немалый вклад в социологию внесли наши товарищи из ныне суверенных государств.

Б. Д.: Начну с моего понимания генезиса постхрущевской социологии, ведь это многое определяет в нашей беседе.

В настоящее время большинство специалистов характеризуют происходившие на рубеже 1950–1960-х годов дискуссии о социологии и первые прикладные работы как этап возрождения советской/российской социологии после нескольких десятилетий отсутствия в стране теоретических и эмпирических социологических исследований. Начиная свои интервью, я тоже исходил из такого понимания событий полувекской давности, но при этом мне хотелось распознать следы процесса возрождения, что предполагает изучение и переосмысление опыта предшественников, выявление наиболее ценного в их работах, отыскание в этом прошлом вызовов для новых исследований.

Однако опубликованные ранее интервью с социологами-первопроходцами и мои с ними беседы показали, что в начале второй половины прошлого века у них не было никакой осмысленной, обоснованной концепции построения

Создаваемое в период “оттепели” никоим образом не опиралось на дореволюционных гигантов отечественной социологии. На международных конгрессах мы выступали как советские (“русские” в терминологии западных участников) и этим гордились

социологии с учетом достижений дореволюционной и ранней советской социологической науки. Более того, стало очевидным, что такой концепции и не могло быть. И дело не в том, что они плохо представляли сделанное предшественниками, но в том, что подобный “архитектурный” замысел в принципе был невозможен по политико-идеологическим обстоятельствам той эпохи. Прошлое российской социологии было скрыто от них в силу многих обстоятельств, в частности, особенностей жизненного пути тех, к чьему наследию следовало бы обратиться. Многие из них либо были уничтожены в конце 1930-х как “враги народа” (Н.И. Бухарин, В.К. Гастев, Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов и др.), либо эмигрировали; многие к тому времени умерли. Имена покинувших Россию на “философском пароходе” теми или иными путями вернулись в российскую социологию после перестройки.

В. Я.: Прости, перебую. Работы Гастева и его сотрудников мы как трудовики использовали. Напомню, что Ленин одобрил его намерение создать систему научной организации труда наподобие фордовской. Правда, институт Гастева (Центральный институт труда) долго не просуществовал, и его сотрудники были репрессированы.

Б. Д.: Я продолжу. В целом получается так, что термин “возрождение” применительно к процессу становления постхрущевской социологии, его

закрепление в историко-научоведческих исследованиях могут стать основой для мифов или ложной интерпретации генезиса, а значит, и всего последующего развития отечественной социологии. На мой взгляд, точнее говорить не о возрождении советской социологии, но о ее *втором рождении*.

Молодые философы, историки, экономисты, которые на рубеже 1950–1960-х стали называть себя социологами, следовали в своей инновационной деятельности тем же социально-нравственным ориентирам, что и поэты-шестидесятники. Андрей Здравомыслов сказал: “Булат Окуджава имел для нас гораздо большее значение, чем Питирим Сорокин, которого мы знали в начале 1960-х годов лишь по трем упоминаниям В. Ленина. Профессиональной преемственности с нашими предшественниками 1920-х годов не было: сталинские репрессии прервали эту связь...” [Здравомыслов. 2006].

В. Я.: У Высоцкого: “Нет, ребята, все не так / Все не так, ребята!”

Б. Д.: Обсуждая тему знания прошлого с Владимиром Шляпентохом, имеющим историческое и статистическое образование, я спросил его, оказали ли на него влияние работы русских земских статистиков и книга Ленина о развитии капитализма в России. Вот его ответ: “Буквально никакого, хотя я кое-что знал о них”, и “Я хорошо знал работы Ленина и относился к его анализу статистических данных вполне уважительно... Однако влияние Ленина на нашу социологию в 1960-е годы было равно, по моему мнению, нулю”.

В. Я.: Это верно. Ссылки на ленинскую анкету для рабочих, его анализ становления капитализма в России на основе переосмысления земской статистики, упоминания энгельсовых исследований манчестерских ткачей непременно приводились в тогдашних учебниках, дабы показать, что классики марксизма не отвергали эмпирические методы. Но решающие конструктивные требования к построению опросов опирались на западные источники.

Окончание см. на стр. 61 →



→ Окончание статьи.

Б. Д.: Продумывая некоторые аспекты процесса зарождения постхрущевской советской социологии, я поинтересовался мнением наших коллег относительно определений “возрождение” или “второе рождение”. Ответ Заславской был коротким: “Я согласна, что было именно второе рождение. Это уже потом возник интерес к историческим корням, который сохраняется и сейчас” [Заславская. 2007. С. 166]. Ответ Тощенко был развернутым, и я процитирую основное: “...Говорить о возрождении можно довольно условно. Но в то же время в определенной степени это оправданно. При такой формулировке вопроса мы подчеркиваем некоторую преемственность, дань традициям, призыв не забывать предшественников. Но есть и другая сторона вопроса. В реальности русских социологов XIX века, 20-х годов XX века вспоминали скорее по форме, чем по существу. О том, что это возрождение было скорее формальным, говорит тот факт, что многие разработки наших предшественников практически мало или совсем не востребованы. <...> В 1960–1980-е годы перед отечественной социологией стояли иные задачи. Поэтому все крупные исследования 1960-х годов <...> отвечали на волновавшие науку и практику вопросы именно этого периода, не учитывая то, что делалось в 1920-е годы. Поэтому в этом случае более уместно говорить о втором рождении социологии, которая во многом носила сугубо осовремененный характер, больше обращала внимание на аналогичные исследования за рубежом в этот период” [Тощенко. 2007. С. 168].

Я должен процитировать еще одного человека, бесконечно нами уважаемого, – Владимира Шубкина. Еще в конце 1990-х он писал от лица старших о начале социологии: “От имени последних я и хотел бы рассказать о том, что было и как это делалось в действительности. <...> Появление социологии, начало “конкретных социальных исследований” после смерти Сталина и XX съезда КПСС были неожиданными. И для властей предержащих, ибо она возникла не по велению *сверху*, как это было с научным коммунизмом, историей партии, истматом, а *снизу*”

[Шубкин. 1999]. Здесь я хотел бы выделить слово “неожиданным”.

В. Я.: Мог бы ты одной фразой сформулировать свое понимание соотношения “возрождение – второе рождение”?

Б. Д.: Коротко это будет так: “К возрождению через второе рождение”. Возрождение – это “лозунг” последних 20–25 лет, это современная установка нашего профессионального сообщества, стремление связать прошлое и настоящее. Но на рубеже 50–60-х такой программы не могло быть, тогда состоялось второе рождение.

В. Я.: Я бы добавил, что социология 1960-х была, можно сказать, социальным движением в том смысле, что объединяла единомышленников, стремящихся к определенной цели – утвердить социологию в системе марксистского обществознания вопреки сопротивлению властных фигур в философии и политэкономии. И еще – только что посмотрел телепрограмму о Михаиле Ульянове. Коллеги называли его пахарем. Думаю, что несколько выделенных тобой поколений были именно пахарями, притом целины. Какие из этих поколений ты бы отнес к пахарям?

Б. Д.: Мне кажется, что этой целине конца-края нет, на всех хватит. Каждому поколению достанется свое поле. Первые пахут давно, и виден урожай, а вновь приходящим – еще пахать и пахать...

В. Я.: Имеются ли в твоих интервью свидетельства определенного влияния на первых социологов тогдашних скорее социально-философских книг, у которых термин “социология” значился на титуле? Это были книги Г.Ф. Александрова и В.П. Рожина.

Б. Д.: О вкладе В.П. Рожина (1908–1986) в становление ленинградской социологии говорили ты, Андрей Здравомыслов и Игорь Кон. Но речь шла не о его книге по марксистской социологии, а о помощи в создании университетской социологической лаборатории. Кроме того, я нашел в сети упоминание о том, что с 1963 года Рожин руководил общественным Институтом социологических исследований в Ленинграде. Добрыми словами о Рожине, его внимании и поддержке отзываются Светлана Иконникова [Иконникова. 2005] и Альберт Баранов [Интервью

с А.В. Барановым], у которого были сложности с подготовкой и защитой кандидатской диссертации. Так что сегодня у нас есть основания говорить о содействии В.П. Рожина развитию социологии как института.

С конца 1930-х и до смерти Сталина академик Г.Ф. Александров (1908–1961) был одним из главных идеологов страны; он активно боролся с “безродными космополитами” в науке и философии, и – парадокс той эпохи – сам стал жертвой этой борьбы [Вегасов]. Отправленный в 1955 году Хрущевым в Минск, он возглавил сектор диалектического и исторического материализма в Институте философии АН БССР и тогда же начал читать в Белгосуниверситете спецкурс “История социологических учений”. В 1958-м в Минске вышла его книга “История социологии как науки”, а затем им были опубликованы еще две работы: “Очерк истории социальных идей в Древней Индии” и “История социологических учений: Древний Восток”. Но еще ранее, в 1948 году, появилась его работа “Банкротство буржуазной социологии”. Мои обсуждения со Здравомысловым и Шляпентохом позволяют предположить, что труды Александрова не имели заметного значения для развития социологии в СССР. В справедливости этих предположений меня укрепил Игорь Кон, совсем недавно написавший мне: “...Никакого интеллектуального содержания в его книгах нет и никогда не было. Все сочиняли помощники. А поскольку большим начальником он уже не был, никто, кроме штатных подхалимов, его книг не читал” [Эл. письмо Кона Докторову. 2008].

В. Я.: Говорили ли твои собеседники о работах, написанных, как сказали бы сегодня, “в формате” критики буржуазной социологии, о каких именно и в каком ключе? То есть можно ли заключить, что именно эти работы пробудили интерес к социологии?

Термин “возрождение” применительно к процессу становления постхрущевской социологии, его закрепление в историко-научоведческих исследованиях могут стать основой для мифов или ложной интерпретации генезиса, а значит, и всего последующего развития отечественной социологии. Точнее говорить не о возрождении советской социологии, но о ее втором рождении

Б. Д.: Эта тема спонтанно возникала. В наиболее развернутой форме высказался Шляпентох: “...Советская социология была обязана на первых этапах своего существования только западной и польской социологии. Отсюда важная позитивная роль Игоря Кона, Галины Михайловны Андреевой, Юрия Замошкина, старавшихся в своих якобы критических работах о западной социологии сообщить своим коллегам максимум информации о том, что происходит на Западе” [Шляпентох. 2006]. В нашем с тобой интервью помимо Кона и Замошкина ты вспомнил и Юрия Алексеевича Асеева (1928–1995).

Если “переходить на личности”, то – мне это очень приятно говорить – чаще всего подчеркивается значение работ, а также профессиональных дружеских советов Игоря Кона. Прежде всего, ты отмечаешь, что он обратил тебя в социолога. Кон посоветовал вам со Здравомысловым перевести с английского книгу Гуда и Хатта по социологическим методам, по этой книге многие осваивали азы сбора и анализа эмпирической информации [Ядов. 2005]. Для вашего и следующих поколений социологов большое значение имели работы Кона “Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли” (1959), “Позитивизм в социологии” (1964) и “Социология личности” (1967). В них впервые в стране излагалось множество новых по тому времени теоретических и эмпирических результатов западных социологов и психологов.

Теперь обращусь к интервью с известными российскими социологами, сформировавшимися под влиянием Кона. Игорь Голосенко (1938–2001): “...Лично я избрал историю социологии, книга Кона “Позитивизм в социологии” показалась мне глотком свежего воздуха” [Интервью с профессором И.А. Голосенко. 1998]; Алек-

сандр Гофман: “О Дюркгейме я впервые услышал от моего учителя Игоря Семеновича Кона; он же рекомендовал мне заняться изучением его творчества” [Гофман. 2007]; Леонид Ионин: “Когда речь зашла о выборе темы для моей диссертации, <Кон> сказал, что есть такой интересный исследователь в Америке – Г. Гарфинкель, который изобрел этнометодологию, но о котором у нас, можно сказать, никто не знает. <...> В общем, Игорь Семенович, хотя он этого наверняка не помнит, дал очень ценный совет, и если взглянуть на то, о чем я писал, можно сказать, что я всю жизнь ему следую” [Ионин. 2007].

О Юрии Александровиче Замошкине (1927–1993) очень тепло сказано в мемуарах Игоря Кона, которые вот-вот увидят свет [Кон. 2008]. Круг научных интересов Замошкина был широк, и в частности включал историю и современное состояние социологии. По мнению Кона, до Замошкина работы по истории и критике “буржуазной социологии” имели преимущественно историко-теоретический характер, причем главное внимание уделялось ее совместимости или несовместимости с марксизмом. Замошкиным был реализован иной методологический подход: он выбирал поставленную американскими социологами реальную социальную проблему и затем обсуждал ее экономические и социально-психологические корреляты, формулируя при этом собственные концептуальные идеи. Это было конструктивнее абстрактно-идеологической критики.

Считаю важным привести здесь крошечный фрагмент из воспоминаний твоей однокурсницы, одесского профессора социологии Ирины Поповой: “Мой “приход” в социологию связан с именем Ю.А. Замошкина. Случайно мне попала его небольшая брошюра, которая, помнится, называлась “Психологическое направление в современной буржуазной социологии”. Это было во второй половине 1950-х годов” [Попова. 2006].

Твой вопрос, по сути, касался одного из каналов ознакомления нарождавшегося социологического сообщества с западной литературой; но есть еще одна тема – возможность ознакомления с работами советских предшественников. А ведь и здесь были преграды, по воспоминаниям Кона, “старая советская литература была еще менее доступной, чем иностранная” [Кон. 2008].

О поколениях социологов и их взаимосвязях

В. Я.: Перейдем ко второму вопросу: какие поколения ты выделяешь? Поясним, что поколение – не то же самое, что возрастная когорта, хотя они могут и совпадать. В моей интерпретации термин “поколение”, предложенный Карлом Мангеймом, обозначает сверстников и несверстников, переживших одни и те же значимые исторические события или формировавшихся в особых, отличных от формировавшихся другие поколения, социальных обстоятельствах.

Б. Д.: Сначала остановлюсь на вопросе о количестве и составе поколений нашего профессионального сообщества. В институциональной трактовке истории социологии одной из центральных является проблема взаимосвязи со-

циальных институтов, в истории социологии “с человеческим лицом” многое располагается именно вокруг проблемы поколений.

Хотя поколенческий подход к анализу прошлого нашей социологии не отрицается, реально для его развития сделано мало, в частности, не решен вопрос о критериях выделения поколений, значит – об их границах. Так, по мнению Здравомыслова, следующим за вами является поколение, которое

примерно на 20 лет моложе [Здравомыслов. 2007]. Но это не так.

Изучение интервью с социологами разного возраста позволяет обозначить границы и некоторые особенности становления поколений

В институциональной трактовке истории социологии одной из центральных является проблема взаимосвязи социальных институтов, в истории социологии “с человеческим лицом” многое располагается вокруг проблемы поколений

социологов, следовавших за первым. Моя схема конституирования поколений именно в отечественной социологии опирается на два критерия: возраст (год рождения) и особенности вхождения в социологию. Даже в случае “нормального” развития науки, при котором нет разрывов в процессе подготовки специалистов, недостаточно первого критерия. Второй – тем более необходим для рассмотрения ситуации, когда ход развития науки далек от “нормального”.

Мне приходится встречаться с проявлением некоей ревности наших коллег в вопросе об отнесении их или других социологов к определенному поколению. Замечу, что я не рассматриваю принадлежность к тому или иному поколению как титул или почетное звание. Для меня поколение – лишь историко-научоведческий концепт, или инструмент, который позволяет полнее описать становление социологии, ее коммуникационные сети, ролевые позиции ученых, соотносить “институциональное” и “человеческое”.

Первое поколение советских/российских социологов, которых принято именовать шестидесятниками, составляет небольшая по численности группа молодых людей, преимущественно имевших базовое философское, экономическое или историческое образование и некоторый опыт работы по полученным специальностям. Большинство из них родились в узком промежутке от 1926 до 1931 года, модальный ин-



тервал – 1928–1929 годы. Свою социологическую деятельность они начинали на рубеже 1950–1960-х годов, практически “с нуля”, *самостоятельно осваивая* современные для того времени теории и эмпирические методы. Многие из них запомнили события конца 1930-х, но все же их социально-политические взгляды формировались прежде всего под влиянием Великой Отечественной войны (некоторые из первых социологов принимали участие в боевых действиях) и в атмосфере “оттепели”.

Второе поколение – по возрасту и социально-политическим воззрениям очень близко к первому, но принципиально отлично от него тем, как оно входило в социологию. Эти люди родились в конце 1920-х – первой половине 1930-х годов, формировались в той же социально-политической и нравственной атмосфере, что и модальная по возрасту группа социологов первой волны. Однако в силу личных жизненных обстоятельств они пришли в социологию позже них, став – и это главное – их первыми *учениками, последователями, единомышленниками*. Это поколение я называю – “шестидесятники второй волны”.

В. Я.: Очень точно, но что ты имеешь в виду под “личными жизненными обстоятельствами”?

Б. Д.: Покажу на двух примерах. Борис Фирсов (р. 1929) – твой ровесник и вместе с тем – твой аспирант, хотя одно время он был над тобой комсомольским “начальником”. До поступления в аспирантуру он имел блистательную для советского времени карьеру: секретарь обкома ВЛКСМ, первый директор Ленинградского телецентра. Вы давно стали близкими друзьями, но, как он говорит: “учитель – явление пожизненное. Роль великовозрастного ученика меня в этом случае нисколько не смущает” [Интервью с доктором философских наук Б.М. Фирсовым. 1999]. Второй пример – жизненная траектория Андрея Алексеева (р. 1934). Он немного младше тебя и Фирсова и до поступления в аспирантуру был одной из заметных фигур в ленинградской журналистике.

Годы рождения тех, кто образует *третье поколение*, – в интервале от 1935 до 1946 года; и середина этого периода приходится на 1940–1941

годы. Его представители – в целом люди без собственного опыта жизни в военное время, они узнавали о страшной войне от взрослых. В их поколенческом опыте нет радости Победы, но они помнят тяготы первых послевоенных лет. Атмосфера “оттепели” осознавалась ими (могу сказать, нами) в песнях Окуджавы, стихах поэтов-фронтовиков и поэтов евтушенковского поколения, по публикациям “Нового мира”.

Это “поколение войны”. По типу мироощущения их можно характеризовать как “младших шестидесятников”, или, пока еще, “шестидесятилетних”, хотя некоторые уже перешагнули 70-летний рубеж.

Четвертое поколение (1947–1958) я называю поколением биологических детей “отцов-основателей”, здесь середина интервала – 1952–1953 годы. Сегодня в России значительное число социологов этой когорты успешно работают в академической науке, в коммерческих организациях, преподают в ведущих университетах.

Заявило о себе и *пятое поколение* (1959–1970), чьи годы рождения группируются вокруг временной отметки 1964–1965; многие из них уже отпраздновали свое сорокалетие. Думаю, что это люди принципиально иных воззрений на мир, на прошлое СССР/России, на историю советской/российской социологии, чем все предыдущие поколения. Их двадцатилетие пришлось на начало перестройки.

Совсем сложно говорить о шестом и только зарождающемся седьмом поколениях. Годы рождения первого приходятся на интервал с 1971 по 1982 годы (то есть многим уже за тридцать), вторые – в буквальном смысле “дети перестройки”; старшие из этой возрастной когорты уже профессионально определились, а самые младшие (родившиеся в начале 1990-х) – на пороге выбора профессии. Ясно одно: жизненный опыт и ощущение мира, с которыми они входят в жизнь, принципиально иные, чем то понимание жизни и своего места в ней, с которым начинало социологию твое поколение.

В. Я.: Согласно твоей схеме, поколения сменяются через 12 лет, откуда появилось это “магическое” число?

Б. Д.: Подсказала эмпирия, я изучал годы рождения представителей наших с тобою поколений, и начало вырисовываться это число. Но самое главное, что представляется мне ценным в этой схеме, это ее “привязка” к истории страны, к тем событиям, которые определяют черты поколений советских людей. Так, в статье памяти Бориса Грушина (1929–2007) я обратил внимание на то, что его жизненный путь – продолжительностью в семь с половиной 12-леток – “магическим” образом вписывается в исторический, социокультурный контекст, разбитый на двенадцатилетние пласты. 1929 год – это 12 лет после Октябрьской революции. Для родителей вашего поколения дореволюционное прошлое было близким, известным, для вас, учитывая пропаганду тех лет, чужим. Прошло 12 лет – начало войны; годы вашего быстрого взросления, формирования ценностных ориентаций, социально-политических воззрений – все это окрашено Победой и пронизано надеждами на светлую послевоенную жизнь. 1941 год – центральная точка интервала, в котором родились представители третьего поколения. Серединой следующей 12-летки является 1953 год: смерть Сталина, и вскоре – начало “оттепели”; этот год – “яблочко” временного интервала рождения четвертого поколения советских социологов, первого посттоталитарного. Следующие две двенадцатилетки (1959–1982 годы) – время завершения “оттепели” и наступления “застоя”. Первая половина этого интервала – годы второго рождения советской социологии и выхода в свет книг, признанных сегодня классикой. Вторая часть – тяжелое, “мутное” для социологии время: для “шестидесятников” – это годы торможения творчества, и раздумий о месте социологии в науке и обществе; для третьего поколения – период вялого существования, для будущего четвертого – цикл личного и профессионального созревания. 12 лет с 1982-го по 1994-й оказались для социологии в целом благополучными: гласность впервые позволила многое сказать, открыто заговорили о полипарадигмальности, стали возможны прямые контакты с мировым социологическим сообществом, социология институционализировалась как наука, и появилась возможность вести подготовку

специалистов в университетах. Интервью с социологами первых трех поколений показывают, что, несмотря на многие экономические трудности, это время оказалось для них плодотворным в творческом отношении. Заявило о себе четвертое поколение, в нем появились свои лидеры и сложилось свое понимание пути, пройденного советской социологией. Последняя полная двенадцатилетка (1995–2006) характеризуется политическими и социально-экономическими тенденциями как поступательного, так и регрессивного плана, в частности, в обществе активно обсуждаются вопросы отношения не только к советским, но и к дореволюционным ценностям. Все это отражается и в социологическом сообществе и связывается некоторыми авторами с поисками “своего”, российского пути.

В. Я.: Действительно, невозможно избавиться от субъективных оценок, говоря о прошлом нашей науки. Так, к настоящему времени, то есть к началу 2008 года, сообщество социологов расчленилось по ряду критериев: региональному (например, Санкт-Петербургская ассоциация социологов), по занятости в науке или образовании (Общество Ковалевского в Петербурге, по сути, объединяет университетских преподавателей, а Сообщество профессиональных социологов в Москве – по преимуществу сотрудников РАН и профессуру ведущих университетов). Наиболее болезненным является идейный раскол между Российским обществом социологов и рядом других социологических организаций (прежде всего это Российская социологическая ассоциация – РОСА, Союз социологов России – ССР), суть которого – полярные представления о будущем страны, которые подпитываются отношением к религии (православию) и русской социологии как именно национальной.

Я причисляю себя к российским патриотам прозападной ориентации, то есть приверженцам либерализма, демократии (социал-демократии, в политических терминах), и потому надо сделать поправку на неизбежную предвзятость моих рассуждений. Вполне допускаю, что приобщение многих социологов к православию искренне, хотя по своему советскому воспитанию понять это не способен. Я извлек из своего уни-

верситетского образования, что религия и наука – полярны, а из работ классиков социологии выучил, что это особый социальный институт, играющий важную роль в стабилизации социокультурной системы. Раскол в среде отечественных социологов вполне объясним постсоветской ситуацией в обществе, утратившем ценностные ориентиры, но думаю, что наша профессиональная и гражданская миссия состоит в том, чтобы оставаться в пределах взаимоуважительной полемики – дискурса, участники которого артикулируют свою позицию, но не стремятся навязать ее оппоненту. Будущее покажет, как сложился “параллелограмм сил” разных субъектов, преследующих свои интересы.

Б. Д.: Я хотел лишь отметить, что предлагаемая система 12-летних поколенческих интервалов не просто “нумерологическая”, она учитывает социально-исторический контекст всего периода советского и постсоветского развития социологии. Система поколений различной временной “толщины” была бы лишена гармонии, изящества и несла бы в себе слишком много *ad hoc*, субъективизма. С другой стороны, набор поколений меньшей или большей “толщины”, скажем, 5–7 лет или 15–20, явно не отвечал бы эмпирически наблюдаемому в нашей социологии характеру отношений между социологами разных возрастных групп, его трудно было бы “совместить” с макросоциальным фоном.

При разработке своей схемы я шел от анализа возрастной структуры относительно небольших групп представителей первых трех поколений, но если сделанное принять за основу, то оказывается возможным говорить об *эвристическом* значении нижней временной границы старшей возрастной группы: это 1923 год (верхняя граница года рождения – 1934). Здесь наши коллеги, непосредственно пережившие войну. Обратимся к статистике (указываю лишь родившихся до 1926 года): Нариман Абдрахманович Аитов (1925–1999), Галина Михайловна Андреева (р. 1924), Эдвард Артурович Араб-оглы (1925–2001), Александр Абрамович Галкин (р. 1922), Георгий Петрович Давидюк (р. 1923), Александр Александрович Зиновьев (1922–2006), Венори Михайлович Квачахия (1924–1982),

Джангир Али-Абасович Керимов (р. 1923), Лев Наумович Коган (1923–1997), Самуил Аронович Кугель (р. 1924), Иван Тихонович Левыкин (1923–1994), Николай Сергеевич Мансуров (р. 1921), Виктор Яковлевич Нейгольдберг (1924–1990), Василий Дмитриевич Патрушев (р. 1925), Моисей Рувимович Тульчинский (р. 1923), Захар Ильич Файнбург (1922–1990), Владимир Николаевич Шубкин (р. 1923), Анатолий Георгиевич Харчев (1921–1987), Зоя Алексеевна Янкова (1921–1998). Действительно, годы рождения подавляющего числа социологов заключены во временном интервале указанной выше ширины, и в этом я вижу дополнительный индикатор валидности предлагаемой конструкции поколений.

В. Я.: На первый взгляд, правдоподобно, но я не вижу здесь М.Н. Руткевича...

Б.Д.: Михаил Николаевич Руткевич (р. 1917), Ирина Ивановна Чангли (р. 1915) и еще небольшое количество обществоведов представляют когорту людей, родившихся в 1911–1922 годы и формировавшихся в постреволюционный период. Это самым заметным образом проявилось в их профессиональной деятельности. Применительно к этой возрастной группе точнее говорить не о поколении социологов как о чем-то целостном, но о работах отдельных обществоведов. Что касается Руткевича, то, судя по его публикациям и основываясь на мнениях людей, стоящих у истоков постхрущевской социологии, он и в своих теоретических построениях, и в прикладных разработках всегда оставался философом-истматчиком и не признавал самостоятельности социологии.

В. Я.: Не согласен. Еще будучи деканом философского факультета Уральского госуниверситета, он пригласил меня прочесть полный курс методологии социологического исследования. Став директором ИКСИ, Руткевич не мог не признавать социологии. Так, он ввел в наш профессиональный лексикон несколько русизмов вместо англоязычной терминологии, например, “со-

циальные перемещения” (=мобильность). Сегодня публикует социологические труды в области социального расслоения...

Б.Д.: Но разве рассмотрение социологии как раздела истмата мешает пригласить тебя прочесть цикл лекций, тем более что в Свердловске много занимались прикладными исследованиями? Что касается введения термина “социальные перемещения”, то, насколько я знаю, это заставило многих переписывать свои работы. По мнению Руткевича, книга Бориса Фирсова по истории советской социологии написана с антимарксистских и антисоветских позиций [Руткевич. 2003. С. 50]. А то обстоятельство, что в 1990 году Лев Коган публично уничтожил свой партбилет, послужило для Руткевича причиной для следующего вывода: “Я могу со всей определенностью утверждать, что Коган существенной роли в позитивном развитии философской и социологической мысли на Урале не сыграл” [Руткевич. 2003. С. 59].

Когорта философов, экономистов, к которой принадлежит и Руткевич, по своим ценностям, по опыту жизни, по пережитому в крутые 1930-е, по восприятию ленинско-сталинского марксизма, по духу и многим чертам мировоззрения располагалась в социокультурном, политическом пространстве ближе к представителям старшего по возрасту отряда обществоведов, а не к следовавшему за ним поколению социологов-шестидесятников. Ведь “молодые” были,

как кто-то сказал про шестидесятников, “не поротыми” (Лубянкой), а “старички” были “обученными” временем.

Последнее предреволюционное поколение (1899–1910 годы рождения) было неоднородно в своем видении мира. Родившиеся в первой половине этой 12-летки сформировались как личности до революции, получив традиционное для царской России образование и впитав характерные для того времени философско-политические и нравственные идеалы и идеи русской общественной мысли. Личное, а позже и профес-



сиональное становление младшей части этой когорты протекало в иных исторических обстоятельствах. Они встретили революцию в том возрасте, в котором основная часть поколения социологов-шестидесятников соприкоснулись с войной. Наиболее политически активные со всей горячностью и открытостью юности принимали лозунги и призывы новой власти, становились первыми комсомольцами, рано начинали работать на заметных постах в партии и учились в институтах нового типа. Некоторые из них затем работали по профессии, другие – продолжали двигаться по лестнице партийных должностей. Значительная часть этого энергичного, заряженного революцией поколения погибла в конце 1930-х и в годы войны, но оставшиеся в живых после войны не имели возможности заниматься социологией. Ряд представителей этого поколения были не собственно исследователями, хотя имели высокие научные степени и академические звания (часто без публикаций и без защит), но более идеологами и организаторами науки. К ним относится Г.Ф. Александров, о котором говорилось выше, а также заметные партийные функционеры, одновременно работавшие в области социальной философии и экономики и причастные к становлению социологии в стране: М.Т. Иовчук (1908–1990), Ф.В. Константинов (1901–1991), В.С. Кружков (1906–1991), Г.А. Пруденский (1904–1967), А.М. Румянцев (1905–1993), П.Н. Федосеев (1908–1990), Ю.П. Францев (1903–1969), Д.И. Чесноков (1910–1973).

Так, М.Н. Руткевич был приглашен Чесноковым, в то время секретарем Свердловского горкома КПСС, в лекторскую группу, затем поступил к нему в заочную аспирантуру, защитил диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС и потом принял кафедру философии в Уральском государственном университете от уезжавшего в Москву Иовчука, который до того более пяти лет проработал в Управлении пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) и два года – секретарем ЦК КП Белоруссии по пропаганде и агитации.

В комментариях к нашему интервью трехлетней давности Игорь Кон вспомнил [Ядов. 2005],

что твое превращение из “чистого философа” в социолога началось с прочтения указанной им статьи Пруденского о свободном времени. Не помнишь ли ты содержания этой статьи? По воспоминаниям Шубкина [Шубкин. 1999. С. 75–76], Пруденский много лет был секретарем Свердловского обкома партии, потом – заместителем председателя Комитета по труду, возглавлявшегося Кагановичем. История дает много необычного: защиту от Пруденского, занимавшегося изучением бюджетов времени, Шубкин нашел у почти 90-летнего Станислава Густавовича Струмилина (1877–1974) – основоположника этого исследовательского направления, имеющего экономическую и социологическую составляющие. Мне думается, что Пруденский вряд ли говорил в той статье о необходимости развивать социологические исследования, просто Кон, а затем ты прочли таким образом его материал.

В. Я.: Пруденский был экономистом и идентифицировал себя как такового.

Б. Д.: Хочу обратить внимание на тот факт, что при другом пути развития России все ученые-идеологи, от которых во многом зависело, быть или не быть социологии в СССР, могли бы быть прямыми учениками или сотрудниками Питирима Сорокина (1889–1968), особенно это относится к Б.А. Чагину (1899–1987).

Франц Шереги и Лариса Козлова обнаружили множество работ, выполненных советскими социологами в первые полтора постреволюционных десятилетия, однако сейчас крайне мало известно о людях, которые следовали в дальнейшем традиции европейской и русской социологии. В этом отношении заслуживает внимания статья И. Голосенко и В.М. Зверева о первой русской женщине-социологе Агнессе Соломоновне Звоницкой (1897–1942). Она чудом выжила в конце 1930-х, ее архив пропал в блокадные годы в Ленинграде, а сама она умерла в эвакуации, работая учительницей в деревенской школе [Голосенко. Зверев. 1991].

Если всю эту “алгебру” возрастных групп и судьбы социологов сорокинского поколения обстоятельно проанализировать, то поймешь, какую глубокую травму нанесли развитию со-

циологии события 1920–1930-х годов и насколько неадекватен термин “возрождение” применительно к нашему предмету. Было именно – второе рождение.

В. Я.: Итак, ты не нашел того, что искал: научных связей между первыми поколениями постхрущевской социологии и русскими дореволюционными социологами. Состоялось новое рождение дисциплины.

Б. Д.: ...Но я обнаружил то, чего не искал: влияние на социологов старших поколений преподавателей, придерживавшихся в своей работе гуманистических, общекультурных традиций дореволюционной школы.

Из воспоминаний Николая Лапина, в годы эвакуации учившегося в деревенской школе в районе Углича – Рыбинска: “А повезло нам с директором этой школы. Его величали Дмитрий Иванович Петропавловский, но школьники и даже многие взрослые звали его просто ДИП. Он был из семьи священнослужителя, до революции учился в Оксфорде и Кембридже, готовился к работе и жизни профессора. После революции часть его родственников репрессировали, а самого направили “в глушь” школьным учителем. Затем ДИП стал директором, преподавал историю и заменял заболевших преподавателей по всем предметам <...> Отличившимся дарил в конце учебного года книги из своей личной библиотеки с напутственными посланиями. После пятого класса я получил от него большой том “Илиады” и “Одиссеи” Гомера в переводе Жуковского и тем же летом запомнил значительную их часть наизусть <...> По школьной программе и вне ее я зачитывался повестями, рассказами, поэмами Николая Некрасова, Глеба Успенского, позднего Льва Толстого, других русских писателей второй половины XIX столетия. Подспудно формировалась ориентация: полнее знать правду о жизни крестьян, простых людей своей страны” [Лапин. 2007].

Вспоминает школу и ленинградец Овсей Шкаратан: “В школе учили по-настоящему. Валентина Федоровна Карякина <...> учительница истории, почувствовавшая во мне своего брата-гуманитария, в свое время окончила Смольный институт. Так что культура была не традици-

онно-советская, кое-какая. <...> В восьмом классе преподавал “бывший учитель словесности”, как он себя именовал. Уникальный старик, в прошлом приват-доцент Санкт-Петербургского университета, он учил нас очень странно: тройка – если ты понимаешь суть проблемы, четверка – если ты знаешь необходимую литературу, а пятерка, если ты можешь еще критически оценить эту литературу. <...> Разумеется, были и обычные, так сказать, советские учителя. Когда мы учились в десятом классе, стали происходить какие-то изменения – 1948 год, борьба с “космополитизмом”. Я окончил школу в 49-м, и это уже была немножко не та школа, что в 44-м, в 47-м году” [Шкаратан. 2002].

Ирина Попова окончила школу в 1948 году в Краснодаре, в старших классах литературу им преподавала Людмила Яковлевна Покровская – бывшая слушательница женских Бестужевских курсов в Санкт-Петербурге: “Она прививала любовь к русской истории и литературе, увлекла пафосом декабризма и народничества, учила проникать в глубину литературных образов и авторского замысла” [Попова. 2006. С. 149]. Под ее влиянием Ирина поступила в Ленинградский университет и выбрала философию.

Школьные годы Александра Гофмана прошли в Кишиневе, он вспоминает: “В средней школе, как и в высшей, у меня были прекрасные учителя. Достаточно сказать, что замечательная учительница Анна Сауловна Мундер, преподававшая мне французский язык до 8-го класса (а я, очевидно, был одним из любимых ее учеников), получила образование в Сорбонне” [Гофман. 2007. С. 20]. Недавно Игорь Кон написал о Гофмане: “...Очень скоро он стал лучшим в стране специалистом не только по дюркгеймовской школе, но и по всей французской социологии” [Кон. 2008].

Говоря о предпосылках второго рождения советской социологии, мне кажется, мы можем говорить не о “трех источниках, трех составных частях”, но о четырех: гуманистическая база – классическая русская литература и социальная беллетристика, философская основа – марксизм, инструментарий – западный позитивизм, политическая среда и духовная атмосфера –

“оттепель”. Чего здесь нет, так это дореволюционной и ранней советской социологии.

В. Я.: Гали Саганенко заметила, что принадлежит к “потерянному поколению”, Юрий Качанов писал, что старики захватили командные высоты, отчего новому не пробиться.

Б. Д.: Я не думаю, что Галино, а значит мое, поколение – потерянное, у меня нет оснований считать так. Численность нашей когорты сокращается, так, в последние годы не стало Валерия Голофаства, Вячеслава Дудченко, Якова Капелюша, Михаила Мацковского, Сергея Розета, Георгия Токаровского... Но многие продолжают работать, так что лишь через годы

можно будет в целом сказать о сделанном нами как некой профессиональной общностью. Но для этого следует четко осознать, какие задачи мы были призваны – нашими учителями и старшими коллегами – решать, и разобраться в том, решили ли мы их.

На мой взгляд, время и особенности развития социологии в СССР в конце 1960 – начале 1970-х прежде всего делали крайне актуальным освоение методов обработки эмпирической информации и повышение надежности социологического измерения. Я напому тебе давнюю историю из нашей жизни, говорящую о степени знакомства социологов тех лет с приемами обработки первичных данных. В 1971 году ты увидел у меня на столе сделанные мною на ЭВМ таблицы расчета процентов для чисел от 1 до 100. Ты попросил их у меня, и летом в ИКСИ на их основе издали брошюру тиражом в 800 экземпляров. Игорь Травин говорил мне, что их расхватали, как горячие пирожки в ненастную погоду.

Вспомним, в очень короткий временной интервал в Москве и Ленинграде в социологические подразделения пришла значительная группа молодых людей с математическим или физическим образованием. Упомяну имена лишь тех,

Говоря о предпосылках второго рождения советской социологии, мы можем говорить о четырех “источниках, составных частях”: гуманистическая база – классическая русская литература и социальная беллетристика, философская основа – марксизм, инструментарий – западный позитивизм, политическая среда и духовная атмосфера – “оттепель”

кого лично знаю многие годы: Владимир Андреев, Людмила Докторов, Семен Клигер, Михаил Косолапов, Елена Петренко, Владимир Рукавишников, Галина Саганенко, Галина Татарова, Юлиана Толстова, Сергей Чесноков, Франц Шерги, Юрий Щеголев; вспомню и наших украинских коллег: Владимир Максименко, Владимир Паниотто, Валерий Хмелько. Я тоже принадлежу к этой команде. Мы должны были заниматься вопросами выборки, шкалированием, созданием – тогда не говорили “софта” – программ для простейшей обработки больших массивов, освоением правил интерпретации результатов математической обработки. С тех пор прошло четыре десятилетия, и сегодня все эти задачи кажутся “семечками”, но это и потому, что наше поколение ответило на те исторические вызовы. Теперь многие из названных мною людей преподают студентам, а это разве не вклад в развитие российской социологии?

К этому же поколению относятся и социологи, внесшие значительную лепту в развитие других направлений социологических исследований. Покойный Игорь Голосенко первым начал целенаправленно изучать дореволюционную русскую социологию; Сергей Голод – родоначальник советской социологии сексуального поведения; Александр Гофман – крупнейший специалист по теории и истории социологии и социологии моды; работы Леонида Ионина охватывают широкий круг вопросов, касающихся философии и методологии социологии, а в последние годы – социологии политики; Никита Покровский давно и успешно исследует проблемы урбанизации, в том числе – на глобальном уровне; Аркадий Пригожин – ведущий в стране специалист по проблемам менеджмента.

В. Я.: Замечу, что с Аркадия в стране началось создание службы психологической помощи тер-

пущим бедствие. Во время землетрясения в Спитаке (1988 год) мы с вице-президентом АН СССР В.Н. Кудрявцевым пригласили из США крупного специалиста, и после трех-пяти дней работы с ним Пригожин отправился в Спитак и ежедневно информировал о налаживании неизвестных нам простейших средств помощи, а затем написал учебное пособие.

Б. Д.: Я мог бы легко продолжить этот список представителей третьего поколения, результаты работы которых имеют международное признание.

Конечно, у каждого есть все основания говорить о трудностях, о неудовлетворенности сделанным, о годах бессмысленной деятельности. Но это не означает, что поколение – потерянное. Вспомним, Борис Грушин сказал, что его жизнь “состоялась, но не удалась”... так кто тогда и в каком поколении может сказать, что его жизнь удалась?

Что касается замечания Юрия Качанова, то я не совсем понимаю, о чем речь. Я читал статьи Качанова в “Социологии: 4М” и в сети, но мы лично не знакомы. Он приближается к своему пятидесятилетию, является главным научным сотрудником Института социологии и членом редколлегии достойных журналов. Кто в его понимании “старики” и о каких “командных высотах” может идти речь в науке? Среди моих знакомых всегда было более распространено “бегство” от административных позиций, чем рассуждения об их недоступности. К тому же – по моим представлениям – в современной России для человека, испытывающего интерес к научно-организационной деятельности, существует множество возможностей реализовать карьерные планы, но для этого придется в той или иной мере “приглушить” свои собственные научные замыслы.

В. Я.: Ты вычислил 12-летний поколенческий интервал, достаточно короткий. Что-то подобное определила и Виктория Семенова при выделении позднесоветского и постсоветских поколений молодежи. И еще. Неля Мотрошилова, виднейший историк философии, вдова Юрия Замошкина, пишет в книге, посвященной его памяти: “...Нашим поколениям не было отпущено благодного покоя: в сущности, каждые 10–15

лет (а то и чаще) происходили какие-нибудь серьезные социальные потрясения, имевшие не внешний и поверхностный, а глубинно-бытийный судьбоносный характер. При этом затрагивались годы и десятилетия, которые для поколения в целом становились своего рода центральным временем их судьбы” [Замошкин. 2007. С. 9]. Твоя классификация по дюжине лет находит еще одно авторитетное подтверждение.

Б. Д.: В традиционных, замкнутых общинах образ жизни детей мало отличался от того, как жили отцы, но проблема отцов и детей – вечна. Не думаю, что можно будет принципиально сократить “временную толщину” *профессионального поколения*, ведь она – функция не только процессов, происходящих в обществе (российском, а сейчас и глобальном), но и особенностей развития самой науки, которое по-хорошему консервативно. Изменения в обществе и науке накапливаются, и эффектом этой кумуляции становится новое поколение ученых. Но, конечно же, жизненный и профессиональный опыт “старших” и “младших” в рамках одного поколения сближает первых с предыдущим поколением, а вторых – с последующим.

В. Я.: Здесь можно поспорить. Сегодня западные постмодернисты говорят о наступающем/наступившем разрыве межпоколенческих связей. “Текущая современность” (З. Бауман) делает любые структуры (= связи) временными, накладывает на реалии виртуальные взаимодействия и т. п. О будущих поколениях в нашей социологии – вопрос особый.

Персональные пути в социологию

В. Я.: *Теперь хочу попросить тебя поделиться собственно биографической информацией о твоих респондентах – что это за люди? Откуда они взялись?*

Б. Д.: Для меня это главные вопросы, на которые хочется отвечать. Я уже говорил о двух направлениях моих историко-научоведческих поисков: “история в биографии” и “биография в истории”. В первом случае речь идет об анализе влияния макросоциальных, политических обстоятельств (собственно, истории) на деятель-

ность творческой личности. Второе направление как бы встречное – понять, как личный мир ученого, процесс его социализации и профессионализации отражается в его деятельности и, таким образом, становится частью культуры, науки, истории. Наша дискуссия подвела меня еще к одной идее – написать историю “от лица социологов”, в их восприятии. Это почти то же, что более привычное “история глазами социологов”, но мне представляется, что словосочетание “от лица” порождает более высокие личностно-гражданские ассоциации.

В. Я.: Согласен. “От лица” предполагает персональную включенность, “глазами” – созерцательность.

Б. Д.: Отвечая на твой вопрос, я прежде всего буду обращаться к биографиям тех наших коллег, с которыми беседовал сам, – но не только.

Замечу, что семьи, из которых вышли поколения перво-социологов, – разные по социальному статусу, и в истории этих семей читаются все важнейшие исторические события того времени. Люди, пришедшие в социологию, не были представителями особых социальных групп или проводниками каких-то специфических общественных интересов. Среди них есть выходцы из семей, которые жили в крупных городах и в которых, по крайней мере со стороны одного из родителей, несколько поколений имели серьезное образование. Есть и такие, которые представляют первое в семье поколение, получившее высшее образование, многие из них начинали, а иногда и оканчивали школы в небольших городах или в деревнях.

Увлекательные историко-генеалогические раскопки провел Андрей Алексеев [Алексеев], их связующим элементом является судьба его прапрадеда Павла Петровича Аносова (1799–1851) – знаменитого металлурга, изобретателя русского булата, о котором в 1954 году вышла книга в серии “Жизнь замечательных людей”. Дед Анд-

рея – П.М. Пузанов – потомок двух дворянских родов: Пузановых и Аносовых – был кем-то вроде инспектора железных дорог, а его семья жила в Петербурге. Его дочь, мать Алексеева, в листках по учету кадров писала о своих родителях: “состояние – дворянство”; она окончила Технологический институт и в относительно молодом возрасте выдвинулась в число ведущих советских

специалистов в области “теории допусков и посадок”. Его отец происходил из крестьян или мещан, окончил Ленинградский политехнический институт, стал инженером-технологом и всю жизнь проработал на заводе им. Ворошилова (ныне – завод “Звезда”), уйдя на пенсию с должности главного технолога.

Прадед по материнской линии Якова Гилянского [Гилянский. 2005] принадлежал к старой русской семье Давыдовых и был старшим егерем Его Императорского Величества, а отец матери происходил из знатного украинского рода

Редько. Среди братьев его бабушки были офицеры русской армии, которые после революции жили в Париже, Югославии и других странах. Отец Якова был врачом-невропатологом, кандидатом медицинских наук, а его двоюродный дядя, нарком Абрам Лазаревич Гилянский, расстрелян в 1938 году как “враг народа”.

Юрий Александрович Левада родился в Виннице; его мать была журналисткой, отец, Александр Степанович Косяк-Левада, – известным украинским литератором. Отец участвовал в Великой Отечественной войне, а после войны работал в Министерстве кинематографии и в Министерстве культуры Украинской ССР. Им написаны сценарии к ряду игровых и документальных фильмов. Бабушка Левады была полькой, принадлежала к польско-литовскому графскому роду Сангелло. В доме говорили по-польски, была литература на польском языке. Позже это дало возможность Леваде читать польские газеты,

Изменения в обществе и науке накапливаются, и эффектом этой кумуляции становится новое поколение ученых. Но, конечно же, жизненный и профессиональный опыт “старших” и “младших” в рамках одного поколения сближает первых с предыдущим поколением, а вторых – с последующим

политическую и социологическую литературу [Докторов. 2007. С. 69].

Подробно описал историю своей семьи Андрей Здравомыслов (в публикацию [Здравомыслов. 2006] вошло далеко не все). Его отец был представителем третьего поколения с высшим образованием в роду, причем и Андрей, и его отец были выпускниками Петербургского университета. Фамилия “Здравомыслов” указывает на происхождение из духовного сословия и на незаурядные способности его прадеда, получившего эту фамилию по окончании Новгородской духовной академии. Среди родственников Андрея есть герои обороны Севастополя, многие погибли в Русско-японскую, Первую мировую и Великую Отечественную войны; среди предков были князья и дворяне, крестьяне (в том числе крепостные), военные, вплоть до генерал-майора, священнослужители и разночинцы – почти вся Россия. Его отец после окончания университета преподавал русскую литературу. Мать происходила из крестьянской семьи, она была учительницей русского языка и литературы в школе.

Нечто подобное – родители из разных социальных страт – было в семье Татьяны Заславской [Заславская. 2007. С. 11–20]. Дедушка по материнской линии (его отец был бельгийцем, мать – русской дворянкой) был известным физиком и получил личное дворянство. Его жена, бабушка Заславской, происходила из семьи высокопоставленных военных, училась в Париже в консерватории, но, выйдя замуж, посвятила свою жизнь мужу и детям. Мать Татьяны Ивановны окончила Киевскую классическую гимназию, Московские женские курсы, а также прошла почти полный курс обучения на филологическом факультете Киевского университета, который ей из-за Гражданской войны и ряда семейных обстоятельств не удалось окончить. Отец Татьяны Ивановны был из крестьянской семьи; он окончил церковно-приходскую школу, затем училище в небольшом городке Боровске, участвовал в войне 1914 года, заслужил “Георгия”, был ранен. После войны он сдал экзамены за курс гимназии и в 1917 году поступил на философско-педагогический факультет Киевского университета;



в 1941 году стал профессором Московского педагогического института иностранных языков. И путь в науку, и предмет многолетних исследований Заславской (экономика села), по ее словам, в значительной степени были предопределены семейным воспитанием.

Овсей Шкаратан объясняет выбор темы своих первых исследований в интервью Батыгину так: “Я с первого курса университета поклялся: первое, что в жизни сделаю, – напишу книгу о рабочих Ленинграда. Я вырос среди них, я считал и до сих пор считаю, что на протяжении большей части XX века в России было две силы – настоящий интеллигент и настоящий рабочий” [Шкаратан. 2002]. Его отец был рабочим и, рано оставшись без родителей, заботился о двух сестрах. Перед войной семья жила в Ленинграде, отец работал на строительстве метрополитена, а в годы войны строил Ладожскую трассу. В первый год блокады семья получила на него две “похоронки”. Из рабочей среды была и мать Шкаратана. Ее отец работал на мельнице в Белой Церкви, после революции вошел в рабочий комитет по управлению мельницей, стал влиятельным человеком. Его расстреляли соседи, украинцы-бандиты.

Елена Смирнова родилась в Ленинграде; во время войны она с родителями оказалась в Бугуруслане, где черный хлеб с солью и подсолнечным маслом были лакомством, а белые батоны и сливочное масло в магазинах появились лишь с приходом к власти Хрущева. Там она окончила семь классов и вернулась в Ленинград к родственникам, родители приехали позже, т. к. получили свою долю репрессий. Ее прадеды по обеим линиям родства были крестьянами, дед проработал на Путиловском заводе 30 лет мастером, а сама она – петербурженка в третьем колене [Смирнов. 2006].

Александр Гофман, не вдаваясь в подробности, написал, что вырос в семье бессарабских евреев. “Мои родители – простые малограмотные люди. Один мой дед был пастухом, другой – столяром, но в живых я их не застал. Родился я в Волгограде, где мама была в эвакуации, а в 1947 г. родители вернулись в Кишинев, где жили до войны <...>. В Кишиневе я окончил школу рабочей молодежи, работая слесарем-сборщиком на заводе,

производившем стиральные машины. Так что интерес к общественным наукам с семейными традициями никак не мог быть связан” [Гофман. 2007. С. 20].

Борис Максимов сказал про свое происхождение: “самое рабоче-крестьянское”. Родители жили в селе в Ленинградской области, работали в колхозе. Отец окончил церковно-приходскую школу, мать же не умела даже расписаться. Отец, потрудившись в колхозе “за палочки”, затем стал рабочим на лесозаготовках, с индивидуальной ручной пилой, называемой тогда “стахановкой”. Лес, древесину гнали тогда за рубеж, как сейчас нефть и газ. Отец зарабатывал “живые деньги” и, появляясь раз в неделю в семье, приносил гостинцы: конфеты-подушечки, черный хлеб, соленую салаку (банку салаки у них даже как-то украли – это был деликатес). Пришла война, она забрала отца; мать осталась с двумя детьми. Работала от зари до зари, рано умерла. Еще до ее смерти Борис покинул семью, уехал в Питер. В школе он учился всего пять лет, потом поступил в “ремеслуху”. Затем работал на заводе, пытался учиться в вечерней школе; было трудно, но нашлась учительница, которая опекала его, и он окончил 8 классов. Школу он окончил уже после службы в армии [Письмо Максимова Докторову. 2007].

Важное обстоятельство: никто из моих респондентов старших поколений не стал социологом под воздействием школы или родителей. В выборе профессии отсутствовал фактор профессиональной преемственности, первые социологи, как говорят англичане, были *self made persons* – сами себя делали. Семейная преемственность явилась позже, когда складывалось четвертое поколение. Только наш Питер: сколько знакомых фамилий среди молодых: Лена Здравомыслова, Саша Лисовский, Артемий Магун, Олег Могилевский, дочь Галины Саганенко Лена Степанова, твой сын Коля, но я всех не знаю. Говорят, по всей стране факультеты социологии полны детьми и внуками действующих социологов.

В. Я.: Добавлю из книжки моего друга Миши Иванова “Психологи тоже шутят”. Первый психологический закон: “Сын или дочь психолога есть психолог”.

Вопрос – в какой мере события конца 1930-х затронули семьи будущих социологов первых поколений?

Б.Д.: Ты помнишь у Анны Ахматовой в “Реквиеме”: “...Я была тогда с моим народом / Там, где мой народ, к несчастью, был”? Конечно, затронули: старшие – сами испытали, младшие постепенно, малыми дозами узнавали все от родителей.

Отец Владимира Шубкина был преподавателем Барнаульской гимназии с 1907 по 1917 год, а потом обучал школьников Барнаула русской литературе. В 1937 году он, как много позже уз-

нал Владимир, по липовым материалам был арестован НКВД и вскоре расстрелян. Мать, учительница литературы, была уволена, а Владимир как сын врага народа исключен из школы без права поступления. В 1938 году мать была восстановлена на работе, а он вернулся в школу [Шубкин. 1999. С. 64].

Захар Файнбург родился в Белоруссии в семье большевиков-революционеров. С 16 лет жил в Москве, после ареста родителей воспитывался в детском доме [Файнбург...].

Многое о событиях 1930-х и более поздних времен хранилось в памяти Эдварда Араб-оглы. Его отец был членом партии с 1918 года, мать – с 1920-го.

Одно из его самых сильных впечатлений: родители велели сжечь книги Зиновьева, Каменева, Троцкого. О “завещании” Ленина и многом другом он знал в 9 лет. Во время войны Эдвард работал как вольнонаемный на Урале в карьере, вместе с заключенными. В начале 1943-го был призван в армию, но заболел и в 17 лет стал инвалидом Отечественной войны [Араб-оглы. 1999].

Самуил Кутель родился в Минске, в конце 1920-х его семья переехала в Ленинград. В 1939 году его мать стала работать врачом в системе ГУЛАГа, там он окончил 8-й класс. По его воспоминаниям [Интервью с Кутелем. 2001], он постоянно вращался в среде заключенных и охраны.

Из близких Игоря Кона никто не был репрессирован, но он навсегда запомнил, что в 1937 году у них в комнате карандашом на стенке, незаметно, на всякий случай, были написаны телефоны знакомых, которым он должен был позвонить, если бы его маму, беспартийную медсестру, арестовали. В 1948 году, уже будучи аспирантом, он видел и слышал, как в Герценовском институте поносили последними словами и выгоняли с работы уважаемых профессоров – “вейсманистов-морганистов”. В 1949 году пришла очередь “безродных космополитов”, затем было “ленин-

градское дело”, в 1953 году – дело “врачей-убийц”... Потому, пишет он, “почти в каждом из нас жил внушенный с раннего детства страх” [Кон. 2008].

Отец Татьяны Заславской на волне разгрома педологии как буржуазной науки был уволен с работы, по сути, с “волчьим билетом”; с конца 1936-го до весны 1938 года он не мог найти нормальной работы, семья из четырех человек оказалась без постоянного заработка [Заславская. 2007. С. 52].

В 1938 году арестовали отца Бориса Фирсова, он подозревался в том, что, попав в плен к белым во время Гражданской войны на Северном Кавказе, выдал своих товарищей по

краснодарскому коммунистическому подполью. Вскоре его выпустили из тюрьмы за недоказанностью состава преступления, но после всего перенесенного там он скончался, прожив на свободе немногим более месяца. Фирсов вспоминает, что он не смог спросить отца, какое из двух испытаний, выпавших на его долю, было самым тяжелым: пытки белогвардейских следователей, загонявших иголки под ногти, или допросы товарищей по революционной борьбе. Крайне важным мне представляются следующие слова Бориса: “Моя мать, подобно родителям большинства моих сверстников, тщательно оберегала меня от страха перед массовыми репрессиями и их

Никто из когорты социологов старших поколений не стал социологом под воздействием школы или родителей. В выборе профессии отсутствовал фактор профессиональной преемственности, первые социологи, как говорят англичане, были self made persons – сами себя делали. Семейная преемственность явилась позже, когда складывалось четвертое поколение

неисчислимыми личными и общественными бедствиями. Судьба и смерть отца были окружены тайной, которая была открыта мне только перед поступлением в институт. Мама берегла мою душу, но ценой собственных глубочайших страданий и внутренних переживаний. О них не принято было говорить с ребенком, с другими членами семьи, не говоря уже о более широком окружении. Наверное, и по этой причине я вступил в жизнь, твердо усвоив систему взглядов, которые до определенного исторического момента, казалось, были олицетворением высоких социальных истин” [Интервью с Фирсовым. 1999].

Андрей Алексеев пишет о том, что случайно, лишь на рубеже 1980–1990-х он узнал, что его дед по материнской линии в 1933–1934 годах был арестован. Его дети постарались, чтобы “помирать” его отпустили домой. А вот дальше: *“Моя мать никогда не рассказывала мне об этих обстоятельствах* (выделено Алексеевым. – Б.Д.). Не рассказывал и отец, который наверняка об этом знал. <...> До самого зрелого возраста я полагал, что репрессии миновали мою родительскую семью. Не потому ли я так мало знаю о своих родственниках по отцовской (да, в общем-то, и по материнской) линии, что старшее поколение оберегало младших от “ненужной” информации? А потом молчали уже “по инерции”, а младшие не спрашивали...” [Алексеев]

Вот фрагменты из моего интервью с Владимиром Шляпентохом: “Я родился в 1926 году <...> Мой дедушка, несмотря на ограничения в дореволюционной России для образования евреев, сумел окончить Киевский университет. В нашей семье был культ литературы, в особенности русской, и, конечно, музыки. Моя мама, окончив Киевскую консерваторию, стала преподавателем фортепиано, а дядя – известным пианистом <...> Мой дед по материнской линии до революции был владельцем нескольких аптек, а родители отца были домовладельцами и богатыми людьми. Революция была для них катастрофой, и это я знал <...> Хотя обе мои тетки были в 20-е годы яростными большевичками, покинувшими отчий “буржуазный” дом в 30-е годы, тема репрессий явно присутствовала во внутреннем семейном общении <...> Поэтому репрессии 30-х го-

дов не были для меня секретом” [Шляпентох. 2006. С. 1–2].

Итак, Володя, получается следующее: большинство социологов двух старших поколений не просто с юности, с молодых лет знали о репрессиях 1930-х годов, но принадлежали к семьям, которых они коснулись. И в определенном смысле здесь значимо не столько то, сообщали им родители о происходившем в их доме или нет, сколько то, что родители воспитывали детей так, чтобы уберечь их в жизни от чего-либо подобного.

В. Я.: О репрессиях либо знали по семейному опыту, либо по историям друзей семьи. Но я думаю, что все же к моменту поступления в вузы доминантой нашего видения страны, ее политики и нашего собственного будущего был опыт жизни в годы войны, как она вошла в судьбы наших поколений.

Б. Д.: Война научила вас сопротивляться тяготам жизни, сохранять оптимизм, верить власти (сначала в Победу, потом – в скорое преодоление разрухи, в социализм и хрущевский план построения коммунизма, в перестройку), но она же обнажила различие между тем, что вы слышали по радио и читали в газетах, и тем, что рассказывали участники войны.

Второе: ответы моих респондентов показывают, что ваш коллективный опыт восприятия войны впитал самые разные ее проявления и был по-настоящему глубоким и трагичным: это боевые действия и тяжелые ранения, жизнь в блокаде Ленинграде, смерть родных и близких, голод, болезни, тяготы эвакуации. Среди тех, с кем я беседовал, не было участников войны, поэтому приведу лишь несколько фрагментов из воспоминаний социологов, встретивших войну подростками.

Жану Тощенко было тогда шесть лет, его семья жила в небольшой деревне на Брянщине: “Жизнь моего отца завершилась в сентябре 1941 года, он был расстрелян после нечеловеческих истязаний немецко-фашистскими приспешниками. Все происходило в присутствии матери и нас, троих детей. <...> Когда отец потерял сознание, его расстреляли вблизи деревни...” [Тощенко. 2007. С. 150].

Начало воспоминаний Заславской – это живое описание поездки ее (тогда Тани Карповой, 14–15-летней девочки) из Киева в Узбекистан в первые месяцы войны и жизни в Ташкенте. В 1942-м она, вернувшись в Москву, где война чувствовалась гораздо сильнее, чем в Ташкенте, начала “внимательно следить за ходом войны” [Заславская. 2007. С. 248]. В их московской квартире, сохранившей следы бомбежки 21 июля 1941-го, при которой погибла ее мать, останавливались на пару дней родные и близкие, ехавшие на фронт или с фронта. То, что они рассказывали, было до бесконечности не похоже на то, о чем писалось в газетах.

Когда началась война, Андрею Здравомыслову было 13. Его отец и младший брат погибли от голода в блокаду, дом, в котором жила его семья, разрушила бомба, и он чудом остался жив. В феврале 1942 года он был эвакуирован из Ленинграда по Ладоге, но голод не прошел бесследно, с 1944 по 1948 год он пролежал с туберкулезом позвоночника. В больнице окончил школу и затем поступил на заочное отделение философского факультета ЛГУ, ему пришлось заново учиться ходить, вначале на костылях, потом с палочкой и в корсете. В таком виде он и появился на факультете в начале 1949-го [Здравомыслов. 2006].

Серьезный вопрос Андрею Здравомыслову задала Елена Здравомылова: “Очевидно, что все вы – социологи-шестидесятники – дети войны. Мы все говорим о хрущевской либерализации и ее влиянии на становление советской социологии, но можно предположить, что на самом деле война сыграла не меньшую роль в становлении этого поколения, поскольку главная социологическая массовка – это подростки военного времени” [Здравомыслов. 1998]. Ответ Андрея не касался роли войны в вашем поколении, он был сугубо личностным. Но материалы других интервью показывают правоту Елены: отношение к войне – это одна из ядерных ценностей вашего поколения. Точно сказал Шляпентох: “Я войну очень хорошо помню. И тогда и сейчас я считаю, что это была действительно народная война против нацистской Германии. Никакие новые материалы не изменили моего отношения к войне, которое сложилось у меня тогда, когда я воспринимал ка-

ждый салют в честь освобождения города как мою личную удачу” [Шляпентох. 2006. С. 2–3].

В. Я.: Из биографий “стариков” я извлек, что одни (Алексеев, Гишинский, Заславская, Здравомыслов и Левада) имели хорошее “домашнее образование” и семейный стартовый капитал для движения в науку, а другие (Максимов, Смирнова и Шкаратан) были выходцами из “простых” семей, я – из семьи первого образованного поколения по отцовской и материнской линиям. По логике эксперимента, семейное происхождение не объясняет будущие успехи в новой области знания. А пережитые аресты близких, война – общее условие, так что его объяснительный потенциал выше.

Б. Д.: Знаешь, связь между обстоятельствами первичной социализации и направленностью деятельности все же обнаруживается. Шкаратан начал изучать рабочий класс, так как вышел из семьи рабочих; Максимов с момента обучения в ремесленном училище знал рабочую среду и стал ведущим в стране специалистом в области заводской социологии; родители Алексеева были технологами – может, потому и Андрей несколько раз уходил в рабочее; Заславская сказала, что при выборе деревни в качестве объекта изучения “срабатывали гены”. Гишинский в детстве обнаружил дома несколько выпусков журнала “Архив гениальности и одаренности (эвропатологии)”. И сам считает: “Не с них ли в сочетании с профессиональной деятельностью юриста началось мое нездоровое увлечение девиациями?” Так что, может, чисто случайного

в наших профессиональных ориентациях меньше, чем мы полагаем...

В. Я.: Ты меня убедил. Я же сам занялся социологией труда во многом потому, что в период исключенности из партии работал токарем-лекальщиком. Но все же я думаю, что именно война заметно повлияла на социологов “первого призыва”. Сужу по себе. После восьмого класса я поступил в летную спецшколу, откуда ушел как непригодный к полетам из-за чего-то там в вестибулярном аппарате. А еще испанская война... Мальчишки росли будущими солдатами в боях за справедливое дело. Думаю, что одним из мотивов к занятию новой наукой было подсознательное чувство ответственности перед павшими: нельзя укрываться в окопе, когда можно что-то сделать, и потому “ребята, пошли в атаку на махровых налетчиков!” Никто такого не произносил, но мотивация этого рода определенно имела место. Ты смотри, какова доля фронтовиков в соотношении с численностью первосоциологов – Галя Андреева, Саша Галкин, Самуил Кугель, Володя Шубкин, Василий Патрушев, очень нам близкий по социологическим ориентациям Владислав Келле, Георгий Давидюк, Эдвард Араб-оглы, Захар Файнбург, Анатолий Харчев, а также Михаил Руткевич.

Но самое главное, я думаю, заключалось не в биографиях, а в устройстве умов. Научная любознательность была первопричиной, остальное – сопутствующие факторы. Ведь решительно все изменили своим базовым профессиям, все.

Остается проблема: каков же вклад личностно-индивидуального и социального? Позволь напомнить тебе кросскультурные исследования Мелвина Кона. Он потратил более десятка лет на массовые представительные опросы с использованием тестов, чтобы проверить гипотезу о соотношении персонально-личностных свойств

и социальных факторов в саморегуляции социального действия. Он доказал (в сотрудничестве с В. Паниотто и В. Хмелько, которые проводили исследование на Украине), что социальное доминирует.

Мы, то есть мои коллеги по Институту социологии, закончили проект, в котором хотели уяснить, как являются инноваторы в условиях соци-

ального кризиса. Обследовали “челноков” с контрольной группой их коллег по прежней работе в институтах, школах и т. д. Социальные условия – общие, поведение – разное. Одни выжидали лучшего, не получая зарплаты, другие кинулись в авантюру. Наш вывод противоречит заключению Мелвина (тест на интернальность мы также применили) – решающим фактором были персональные свойства.

Теперь я задаю тебе вопрос, выходящий за рамки нашей темы: как, опираясь на свою методологию исследования развития науки и персональных особенностей ее видных деятелей (у нас или в Америке), ты разрешил бы несоответствие выводов – наших и М. Кона? За-

ранее предупреждаю, что у меня есть догадка, но пока ее не выскажу.

Б. Д.: Этот вопрос не выходит за рамки нашей темы... просто мы еще не дошли до анализа личностных качеств, как ты говоришь, первосоциологов. Может, когда и дойдем, но пока замечу, что в обсуждаемой нами, говоря языком Мелвина Кона, группе “респондентов” чрезвычайно высока доля окончивших школу и институты с медалями и красными дипломами, получавших именные стипендии, успешно работавших в комсомоле и на выборных партийных должностях. Да, все изменили своим базовым профессиям, в высшей степени работоспособны, увлечены делом, устойчивы к давлению среды... Можно продолжить, но вывод напрашивается

Среди первосоциологов решительно все изменили своим базовым профессиям, были в высшей степени работоспособны, увлечены делом, устойчивы к давлению среды... В целом это сообщество достигло многого в первую очередь благодаря персональным свойствам. Не обладавшие креативностью и общей энергетикой, способностью к сопротивлению среде сразу сходили с дистанции

ется. В целом это сообщество социологов достигло многого в первую очередь благодаря личным свойствам. Не обладавшие креативностью и общей энергетикой (по Спирмэну, высокими показателями по general-фактору), способностью к сопротивлению среде сразу сходили с дистанции.

Я знаю описание всех перипетий этого Проекта [Kohn. 1993] и соображения Мелвина Кона относительно правомерности сопоставления результатов, получаемых в трансформировавшихся польском и украинском обществах и сложившемся – американском, однако не знаком с итогами исследования. Но исходно у меня такое ощущение, что любой сравнительный социокультурный анализ прежде всего выявит влияние макрофакторов в саморегуляции действий людей, ибо на это он и направлен, этим и интересен. Мы же с тобою имеем дело с социологами-инноваторами (социологи 1950–1960-х были, конечно же, “челноками”), и их поведение надо и можно сопоставлять с поведением героев моего американского исследования [Докторов. 2008], о котором мы говорили в первой части нашей беседы [Работа над биографиями... 2008]. Личностное и социальное можно будет разглядеть при сопоставлении стратегии поведения советских первосоциологов и первых американских рекламистов и полстеров. Вот где могут быть обнаружены и инвариантные формы поведения, и те, которые являются “чистыми” производными социального контекста.

В. Я.: Моя догадка совершенно совпадает с твоим объяснением. Одно дело – социальная стабильность, и совершенно иное – социальные обстоятельства, когда вокруг все рушится или изменяется радикально. В последнем случае более энергичные и менее ординарные действуют не так, как большинство.

А теперь о воздействии социального контекста. На сайте нашего института расположен блог Ядова и Олега Яницкого, где мы начали обсуждение принципиально разных моделей поведения “стариков” и сорокалетних социологов в ситуации конфликта студентов соцфака МГУ с деканом Владимиром Добреневым. Группа студентов воспротивилась дурному обучению и “ре-

жимным” порядкам, установленным на факультете. Из моего поколения многие выступили в поддержку бунтарей и вошли в состав двух комиссий (Общественной палаты и ректорской), изучавших ситуацию на факультете, из сорокалетних таковых были единицы. Яницкий по этому поводу говорил: “Наша социологическая элита 40-летних выросла и работает в гораздо более спокойных, комфортных условиях... Мы проходили довольно суровую школу жизни, они – сразу начали учиться в западных университетах или по западным канонам. Мы не могли отделить себя от проблем страны, их взгляд – более отстраненный... Они почти сразу стали учить других, мы же очень долго проходили школу жизни. У нас прошлое болит до сих пор как отрезанная нога, они не испытывают этих фантомных болей” [Блог Ядов – Яницкий...]. Олег продолжил свое объяснение роли социальной среды для 40-летних: “Они вступали в профессиональную среду перед или в самом начале перестройки... У меня есть на этот счет концепция «порождающей среды» (engendering milieu). Многие из 40-летних получали профессиональное образование за рубежом (стажировка, аспирантура, докторантура). Так или иначе, интеллектуальные и материальные ресурсы были прежде всего там (или здесь в виде фондов, что одно и то же)... Поэтому естественно, что их корни были (и сейчас находятся) больше там, чем здесь. Моя точка зрения: чтобы быть «национальным», всякий гуманитарий должен вжиться в контекст, в среду, уметь стать на точку зрения тех, кто «внизу»... В этом, сугубо профессиональном, смысле наши 40-летние «наднациональны». И еще: “Но ахиллесова пята такой “наднациональности” – риск остаться навсегда “догоняющей социологией”. Потому что “понимать” можно, только будучи внутри, в контексте...” Не правда ли, хорошо сказано? Какие поколения в твоей классификации начали выпадать из российского контекста?

Б. Д.: На мой взгляд, выпадение из российского контекста не является значимой характеристикой того или иного из наблюдаемых поколений социологов, энергия не исчезает... но подумать стоит.

В. Я.: Подумать очень стоит. Ты знаешь, что я не симпатизирую постмодернистскому направлению в социологии. Но трудно не согласиться с утверждением тамошних постмодернистов, что маннгеймова концепция поколений перестает работать. Люди живут, как правило, нуклеарными семьями, торчат у телевизора и сидят за компьютером, с родителями за общим столом бывают лишь в Рождество. В их мировосприятии реалии собственного опыта вытесняются медийными образами разных времен и пространственной локализации. Первокурсников Миша Черныш называет поколением “Дом-2”, то есть читать не хотят, письменные работы скачивают с Интернета...

Добавлю “институциональное” о наших социологах. Единого сообщества нет. Разобщенность, как мы уже говорили, структурирована по принадлежности к региону, по местам занятости в науке/образовании или в центрах изучения мнений и маркетинга, по идейным расхождениям. Искать “поколения” на базе единого социального опыта бессмысленно. Возрастные когорты не отличаются какой-либо солидарностью, ибо одни разъезжают по миру, другие и в отпуск никуда не могут выехать, третьи бросились или в религию, или, трудно поверить, в космизм – сочиняют теории “от пупа”, игнорируя профессиональную литературу. Самые молодые, еще студенты, “просто живут” в тусовках или по парочкам, многие равнодушны к социальным проблемам. С позиции наших с тобой поколений ситуация радикально иная.

Я надеюсь на то, что нынешняя “стабилизация” глубоко дезинтегрированного, по сути, общества по мере ослабления всемогущества чиновничества, снижения ужасающего разрыва между сверхбогатыми и сверхбедными, укрепления гражданских структур будет меняться. В иной социальной среде определенно будет укрепляться гражданская мотивация новых поколений социологов. А это в нашей профессии наиважнейшее. Мастер обязан знать свое дело, но его гражданский и патриотический долг в том, чтобы ответственно использовать знания на благо общества.

Б. Д.: С последним трудно не согласиться. ■

Литература

- Алексеев А.* Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. (Из рукописи первого варианта книги). <<http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Memoirs/alekseev.html>>.
- Араб-оглы Э.А.* “Тогда казалось, что кое-что удавалось”. Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и авт. предисл. Г.С. Батыгин; Ред.-сост. С.Ф. Ярмолюк. СПб.: Русский христианский гуманитарный институт, 1999. С. 358–359.
- Блог В.А. Ядов – О.Н. Яницкий. Приватные разговоры двух ветеранов для публичного обсуждения в среде коллег-социологов. <http://www.is-ras.ru/blog_Yadov_Yanizkij_full.html>.
- Вегасов Ф.* Григорий Фёдорович Александров. <<http://www.pseudology.org/information/AlexandrovGF.htm>>.
- Гилинский Я.И.* “...Я начинал как чистый уголовник...” // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. № 2. С. 6–7.
- Голосенко И.А., Зверев В.М.* Социолог Агнессы Звоницкая: работы и судьба // Социологические исследования. 1991. № 2. С. 75–81.
- Гофман А.Б.* “Социальная реальность... – это сфера свободы” // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007. № 2.
- Докторов Б.* Жизнь в поисках “настоящей правды”: заметки к биографии Ю.А. Левады // Социальная реальность. 2007. № 6. С. 67–81.
- Докторов Б.З.* Реклама и опросы общественного мнения в США: История зарождения. Судьбы творцов. М.: ЦСП, 2008 (в печати).
- Замошкин Юрий Александрович (1927–1993). Сборник воспоминаний. М.: МГИМО МИД России, 2007.
- Заславская Т.И.* Избранные произведения. Т. 3: Моя жизнь: воспоминания и размышления. М.: Экономика, 2007.
- Заславская Т.И.* “Я с раннего детства знала, что наука – это самое интересное и достойное занятие” // Социологический журнал. 2007. № 3. С. 166.
- Здравомыслов А.Г.* Вехи научной биографии // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. Вып. 3.

- Здравомыслов А.Г.* “Социология как жизненное кредо” // Социологический журнал. 2006. №3/4. С. 153–154.
- Здравомыслов А.Г.* Национальные социологические школы в современном мире // Общественные науки и современность. 2007. № 5. С. 114–130.
- Иконникова С.Н.* Философский факультет для меня – родной. <<http://www.spbu-mag.nw.ru/2005/23/3.shtml>>.
- Интервью с А.В.Барановым (проведено М. Алесиной (осень 2007 г.); готовится к печати в журнале “Телескоп”).
- Интервью с доктором философских наук Б.М. Фирсовым // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Т. 2. Вып. 4.
- Интервью с профессором И.А. Голосенко // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. Вып. 2. С. 7.
- Интервью с профессором В.Я. Ельмеевым // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. Вып. 4. С. 5–17.
- Интервью с профессором С.А. Кутелем // Журнал социологии и социальной антропологии. 2001. Т. 4. № 3.
- Ионин Л.Г.* “Надо соглашаться с собственным выбором” // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007. № 3. С. 4.
- Кон И.С.* Восемьдесят лет одиночества. М.: Время, 2008 (в печати).
- Латин Н.И.* “Наша социология стала полем профессиональных исследований, свободных от идеологического диктата” // Социологический журнал. 2007. № 1. С. 143.
- Международная биографическая инициатива <<http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html>>.
- Письмо Б. Максимова Б. Докторову от 4 июля 2007 г.
- Попова И.М.* “Как становились на ноги и как разучились ходить” // Социологический журнал. 2006. № 1/2.
- “Работа над биографиями – это общение с моими героями”. Интервью Бориса Докторова Владимиру Ядову // Социальная реальность. 2008. №1. С.85–104.
- Руткевич М.Н.* Развитие философии и социологии в Уральском университете (40–70 гг. XX в.). М.: ЦСП, 2003.
- Смирнов Е.Э.* “...По профессиональной части претензий не было, но инкриминировалось распечатывание гороскопов” // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2006. № 1. С. 2–3.
- Тощенко Ж.Т.* “Социология возродилась в нашей стране сначала как политическая витрина” // Социологический журнал. 2007. № 4.
- Файнбург Захар Ильич. <http://www.fandom.ru/about_fan/fantasto/fainburg_z.htm>.
- Шкаратан О.И.* “Рутинные интеллигентные проблемы...” // Социологический журнал. 2002. № 3.
- Шляпентох В.Э.* “Только эмпирическая социология в СССР была ареной творчества для гуманитариев” // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2006. № 2.
- Шубкин В.Н.* “Возрождающаяся социология и официальная идеология” // Российская социология шестидесятих годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и авт. предисл. Г.С. Батыгин; Ред.-сост. С.Ф. Ярмолюк. СПб.: Русский христианский гуманитарный институт, 1999.
- Электронное письмо И. Кона Б. Докторову от 3 марта 2008 г.
- Ядов В.А.* “...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...” // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2005. № 3. С. 3–4.
- Himmelstrand U.* Three Faces in Russian Sociology: Surviving Intellectually as Sociologists in a Totalitarian Society // International Review of Sociology. 2000. Vol. 10. № 2.
- Kohn M.L.* Doing Social Research Under Conditions of Radical Social Change: The Biography of an Ongoing Research Project // Social Psychology Quarterly. 1993. Vol. 56. No. 1. P. 4–20.